

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ЛАСТОЧЕК

Повесть

В конверте — цветная фотография: смуглый младенец, ручки-ножки в складочках, черные волосы уже курчавятся (Карина тоже родилась смуглой и довольно крупной — выскочила быстро, акушерка едва успела яблочко мое заморское на руки подхватить, — как же ты рвалась, доченька, в эту бойню! «Que chica mas linda!»¹ А второй будет мальчик», — говорил тогда твой папка, возбужденно перепрыгивая с испанского на русский). Сын Рейнальдо — он мог быть и моим сыном — лежит на большом махровом полотенце (молодчина, Фелипа, сохранила для внука мой давний подарок) и улыбается блаженно-бессмысленно, как могут улыбаться только новорожденные, перед которыми жизнь вот-вот начнет разворачивать свои игрушки-приманки, соблазнительно шелестеть пестрыми обертками, заманивая и эту доверчивую душу туда, где, увитая розами и жилистым плющом, спрятана клетка, — чтобы потом, когда жертва попадет в ловушку, сразу же перестать прикидываться, точь-в-точь как тот хитрый политик после выборов. Вот тут-то и включается свет, гаснет диапроектор с волшебными картинками, а то место, куда зачарованный зритель только что с восторгом взирал, оказывается засаленной простыней или наглядным пособием по военной подготовке, в пятнах чернил и застарелых плевках, которые он в темноте — ах! — принимал за звезды... Но это когда еще будет, а пока сын Рейнальдо улыбается так, как будто может всего этого избежать. Впрочем, есть шанс, что избежит: как и его отец, может так и остаться ребенком до конца своих дней, и тогда он — счастливчик, потому что проживет жизнь в клетке и не заметит этого.

На фотографии можно увидеть старинный комод, на нем и сейчас лежит раковина, та самая, спиралевидным рогом кверху. Рисунок, нанесенный на ее отполированную поверхность резцом художника, конечно же, *отсюда* не разглядеть, но я и так прекрасно его помню: площадь Долорес с пальмой, что застыла на одной ноге, словно Алисия Алонсо в виртуозном па, колониальных времен кафе с портретами давно умерших идадьго. Мы частенько сидели там с местными художниками, — именно в этом кафе вскоре после моего приезда чернокожий Куэльяр подарил мне ту раковину («Эта прекрасная вещь — для очаровательной девушки»). Рей просто ошалел тогда от ревности и подарок отобрал, а наутро помчался в Парке-де-Сеспедес, где в сувенирной лавке у подножия кафедрального собора купил еще одну раковину Куэльяра с точно таким же рисунком: «Если ты меня бросаешь, мы будем смотреть одинаковый эль пайзахе». Нет, *ми амор*, ты ошибался, моя любовь, совсем не один и тот же мы будем видеть пейзаж. Экран-то на всех один, а вот проектор у каждого свой, портативный, так сказать, вживленный в подкорку при рождении — нет, раньше! Мы будем видеть с тобой два разных пейзажа, как по-разному были осуждены произносить звуки, готовить завтрак и ужин, выражать радость и отчаяние; и те слова нежности, которые мы шептали друг другу, с головой выдавали нашу чужеродность. Мы были замурованы каждый сам в себя, как твой сын в свое младенчество, как звук — в спиральные изгибы раковины. Я подношу ее, шершавую, прохладную, к уху. Рев чудовищ доледниковой эпохи, пение ангелов, стоны с берегов подземных рек гудят в ней. Ветер, раскачивающий золотую ладью Месяца, что плашмя, кверху рожками, опускается в Атлантический океан, летучие шаги привидений в средневековой крепости с полуистлевшими пиратскими знаменами гудят в ней. Что еще? Позывные «радио гусанос» за крепко запертыми дверями, топот марширующих и крики «Viva!», стоны беременных, теряющих сознание в давящие хлебных очередей, гудят в ней. Что еще? То ли скрежет зубовой, то ли ножом по стеклу — звук грубо врывается в мой сон, но он, этот звук, для моего слуха желанней, чем все мелодии мира...

Это скрежещет по асфальту ручная тележка почтальона (по-здешнему — *cartero*); в тележке он развозит газеты и письма, и звук тот, вспарывающий тишину, когда его источник еще находится за несколько кварталов от нас, каждое утро бросает меня к дверям, верхняя половина которых состоит из деревянных дощечек на манер жалюзи (нижняя, стеклянная, выкрашена белым, как в бане), — рывок, дощечки торчком, в прорези сразу же

сигает черный кудлатый дымище: маленький дом наш — настоящее ласточкино гнездо! — лепится к нависающему над ним чужому балкону, а с трех сторон зажат между мужской парикмахерской, фотосалоном и каким-то складом (и стены с ними имеет общие — без окон), — дом наш единственным своим окном, тем самым, по-тюремному заштрихованным, глядит на кошмар автомобильной дороги, от которой отделен узким, двое не разойдутся, тротуарчиком. И когда я, закрывая ладонью глаза от нестерпимого солнца, поджидаю почтальона с его тележкой, буквально в двух шагах от меня вверх по улице Агилера с ревом и визгом несутся авто — ржавые, помятые, с выбитыми стеклами и утраченными в каких-то фантастических ристалищах дверцами, дребезжат всеми фибрами своих чудом уцелевших душ, но главное — дымят, черт их возьми, двигатели у них не в порядке или топливо никуда не годное (тут очищенный бензин мало кому по карману), но в восьмом часу утра наше гнездо-беседка-гараж уже переполнено густыми клубами дыма, в этом «букете» разве только кислорода и нет. Я уже не говорю о том (подумаешь, мелочь!), что приходится напрягать голосовые связки, перекрикивая ошалевший рев моторов (потом, в Беларуси, я долго буду преодолевать привычку разговаривать криком), — и так до темноты.

Слава богу, почтальоны здесь выходят на работу рано, пока тот inferнальный оркестр еще только настраивает инструменты где-то по автозаправкам. Протиснув руку между дощечками двери, я могу, добрая сеньора, хлопнуть по плечу Орlando, побалакать с ним про цены на рис и фасоль в магазинах свободной торговли, одновременно жадно наблюдая за неспешными движениями его темных и узловатых, точно клубни южки, рук. Но, увы, — возок сегодня катит не Орlando, а паренек в белой гуайявере; видимо, он родился не под почтальонской звездой, и она ему не благоприятствует, ведь пока он замещает Орlando, я не получила ни одного письма из дома. Ни одного! И сейчас парень огорченно разводит руками. Что ж, стоит ли винить звезды в том, что на моей родине, которую я оставила *навсегда* (слово, в которое невозможно поверить), на моей родине, где пространство кроют размашисто и не скупое, давая большие припуски на швы, а дома не налезает друг на друга, точно декорации из папье-маше в провинциальном театре, — на моей родине обо мне забыли.

От этого горько, как от предательства.

В кровати зашевелилась Карина, я вкладываю в ее ручку *виверон* — кажется, именно так Фелипа называет бутылочку с соской, — и столбенею, пораженная сиянием живой искристой ткани чужого языка: *vivir* означает «жить», тогда *viveron* наверняка — источник жизни. Можно ли дать лучшее название бутылочке для кормления ребенка? (Потом, во время учебы в *Escuela de Idiomas*, школе языков для иностранцев, я пойму, что мое «открытие» было результатом местного акцента: классическое испанское *beberon* происходит от *beber* (пить), а не от *vivir*; но красота этой ошибки останется со мной надолго.) В чужой быстрой речи, где слова горячо дышат друг другу в затылок, как новобранцы на крыльце военкомата, такое вот мерцание смыслов и фоном замечаешь, как ни странно, чаще, чем в родном языке; впрочем, так оно и должно быть, ведь фраза застится туманной слюдой привычки, и только вдумавшись в какое-нибудь слово, знакомое, как жилка на виске у собственного ребенка, вдруг почувствуешь всей кожей его первозданность. Именно — кожей: я на все реагирую вегетатикой, у меня может подняться температура в ответ на гениальную строку, а сердце от какого-нибудь волшебного диалектизма начинает биться, словно рыба в горсти; возможно, вегетативная нервная система и вибрирующая ткань языка — вещи одного порядка, и являются лишь внешней оболочкой чего-то *иного*.

— Алесия, открой!

Фелипа входит в дом со своей полотняной сумкой, — каждое утро к пяти часам она отправляется в продуктовые очереди, иначе здесь не добудешь даже жмени сухого гороха для супа-чичаро. Свекровь, однако, выглядит веселой; напевая, она выкладывает на стол наш недельный *мандадо*: продукты и товары первой необходимости, которые отпускаются по тархете, то есть карточке (тархета тут — основной документ, без нее просто отдашь богу душу от голода): по одному пакетику риса, черной фасоли и гороха, пачка сигарет, коробок спичек, капелька кофе, чуточку сахара — мать Божья, и с этим надо продержаться неделю?! Но еще не все: Фелипа торжественно разворачивает отдельную бумажку — мол, вот оно, гляди! — два полупрозрачных нормированных «бифштекса» размером с детскую ладошку. И наконец, лакомство для Карины — одинокий апельсин на дне сумки.

— Жизнь — это борьба, — вздыхает свекровь и начинает рассказывать, как трудно было уговорить Розу из лавки продать ей этот нелегитимный апельсин — ведь только для тяжелобольных! По специальным тархетам!

На донышке нашего с Фелипой «виверона», в смысле — кофеварки (вот где источник жизни, без шуток), осталось еще на один глоток. Отдаю кофе свекрови (заслужила!), а для себя завариваю гушу: здесь не завтракают, кофе должно поддержать наши силы до обеда, который складывается обычно из тарелки риса и ложки вареной фасоли или гороха. Даже спичками тут пользуются не так, как дома: если будешь чиркать о коробок, ничего не получится: тонкая, словно рыбья кость, спичка просто сломается, — я извела их уйму, прежде чем приспособилась. Пока с усердием питекантропа пытаюсь добыть огонь, керосиновая плита остывает. Уф! Все надо начинать сначала. Жизнь — это борьба!

Никогда не думала, что привычки играют такую роль. Так вот почему люди боятся перемен: они цепко держатся за свой собственный образ, сотканный из привычек. Разорви, перепутай эти нити — что останется от человека? Следует поставить вопрос: существу ли я на самом деле?

Фелипа раскладывает еду по металлическим и стеклянным банкам: в пакетах ничего хранить нельзя, сожрут тараканы, по-здешнему *кукарачи*, они тут огромные, бр-р, около пяти сантиметров в длину, в доме их тучи, трескают все, даже ношеное, с запахом человеческого тела, белье (что особенно возмутительно, поскольку даже резинки для трусов здесь по карточкам). Когда мерзкое насекомое впервые выскользнуло из моей одежды, приготовленной к стирке, я закричала в голос, а сейчас ничего, привыкла. Глотая водянистый кофе (*mierda* оно и есть *mierda*, соответственно — дерьмо), пытаюсь понять, почему в бананово-сахарно-кофейном раю апельсины получают только тяжелобольные, кофе и сахар по тархетам, но заговорить об этом с Фелипой — значит оскорбить ее патриотические чувства, градус которых, я заметила, возрастает пропорционально снижению карточных норм. Вот и сейчас свекровь со старанием отличницы, но не без помарок (грамоту освоила, уже имея внуков) выводит самопиской, сделанной из пластмассового футляра для термометра, дату очередного письма сестре в деревню. Фраза в переводе звучала бы так: «29 июля года 30-го от Революции».

Год тридцатый от кубинской революции оказался последним годом десятилетия, перевернувшего мир, в котором мы выросли. Ночь перед отплытием «Тараса Шевченко» на Кубу мы с Рейнальдо провели в «ленинской комнате» одесского рабочего общежития; буквы из пенопласта — из них складывался огромный, во всю стену, текст «морального кодекса» — отклеились и валялись на полу в коридоре, как, впрочем, и сами поддатенькие «сroitели мунизма», — никчемные буквы, вдруг выпавшие из привычного им слова. Какое же новое слово можно было сложить из этих одиноких букв? Я знала его — «свобода»!

Нам казалось, пылко говорящий о ней и есть наиболее свободный, — тогда мы еще не понимали, что по-настоящему свободный человек этого просто не замечает, поскольку находится в самом естественном для своего организма состоянии. Но даже тот мутноватый, с подозрительным запахом чего-то знакомого (типографской краски? резины первомайских шариков и отечественных презервативов?) воздух — каким освежающим он был после удушливых болотных испарений, которыми мы дышали в стенах школы, университета, редакций белорусской глубинки, куда разъезжались на практику! Кураторы на местах требовали от нас деловитого пустозвонства, возведенного в ранг профессии лицемерия; наши металлизированные линотипом строчки напоминали ряды дебелых теток с двойными подбородками и кокетливо повязанными пионерскими галстуками, марширующих по асфальтированным дорожкам стадиона. Из наших текстов на страницах газет вставала якобы-страна, которой на самом деле не существовало, и мы становились первыми жертвами ее сверхактивного небытия. Жирный шрифт заголовков напоминал тараканов, откормленные стада которых паслись на нивах нашего «Второго Интернационала», университетского общежития номер два, где жило много студентов-иностранцев; текстовые — петит и журнальный рубленый — были схожи с цепочками добросовестных муравьев, одержимых мессианской идеей возведения всемирного муравейника; непарель выглядел как личинки мух — сравнения множилось, но легче от этого не становилось. Я нашла спасение в стихах, которые писала в стол. Если бы психиатру удалось познакомиться с моими тогдашними текстами, он отметил бы прогрессирующий аутизм, который пышно цвел за наглухо закрытыми ставнями римской виллы моего сознания, — я уносила на крыльях мрачных образов в какие-то кроваво-черные небеса, где жизнь была уже невозможна. Вердикт, вынесенный редакцией солидного журнала, куда я отважилась послать свои стихи, был справедлив: «Поэзия, основанная не на реальности». Но основывать что бы там ни было на псевдорéalности, которая роилась вокруг и размножалась с быстротой насекомых, я не желала. Все ценности этого мира были мертвыми, словно проспиртованные внутренности в банках, которые громоздились на стеллажах кафедры хирургии, куда нас гоняли отрабатывать «военку». И на себе я начинала чувствовать ту же маску, невидимую пленку, в которую было герметично упаковано все: родительские наставления, невинные игры в «бутылочку» на вечеринках в честь наших совершеннолетия, и даже те робкие поцелуи, которые взволнованные игроки дарили друг другу, не проникали в сердца из-за той пленки. Мир, в котором нас обязывали быть счастливыми, болел лицемерием — так всего через несколько лет он будет загрязнен радиацией. И мне любой ценой хотелось содрать надоевшую маску, даже если бы ради этого пришлось сорвать с себя и саму кожу.

И вот пленка пошла трещинами и начала отваливаться, словно высохшая штукатурка. Нам казалось — нет, мы были уверены! — что вслед за этим последует новая жизнь, которая не может, не имеет права быть похожей на прежнюю. Памятуя, что «и в капле воды отражается солнце», мы не приняли во внимание, что по капле нельзя судить о размере солнечных пятен. Это был честный взлет российской прессы, которая прочитывалась от названия до выходных данных и фамилии редактора. И вдруг я оказалась в стране, где «Московские новости» и «Спутник» были запрещены за оскорбительный, с точки зрения здешних властей, выпад против Брежнева, этого шута, про которого мы еще в школе повторяли стишок: «Брови черные, густые, речи длинные, пустые...» В стране, где американское «Радио Марти» («радио гусанос», как презрительно называли его местные функционеры) слушают в наушниках, чтобы соседи не донесли в CDR, Комитет Защиты Революции! Однако наиболее употребительным словом и здесь оказалось... да-да, то самое, засаленное, как денежные знаки с надписью «Куба, свободная от Америки», — но что можно было купить за эти тугрики?!

Тогда, в восьмидесятых, у нас была привычка — как выяснилось, опрометчивая — бросать, не задумываясь: «В наших магазинах ничего нет». Нам и присниться не могло, что есть страна, где эту фразу нужно понимать буквально. Разве можно назвать магазином заведение, где посреди мраморного (эге ж! тот, кто строил